

Любовь ЛИХОМАНОВА

АРГУМЕНТ

У деда Семёна разболелся зуб. И что характерно: самый что ни на есть распоследний. И главное, что обидно: холимый и лелеемый последние пять лет. До этого другие как-то незаметно и без особой боли, постепенно выпали сами собой.

Каждое утро Семён Иванович, категорически не признававший новомодных порошков, паст и зубных щеток, старательно натирал этот единственный, оставшийся к семи десяткам прожитых лет, «раритет» сырым пальцем, обмакнутым в свежую печную золу. Затем полоскал рот родниковой водой и, оттопырив седую усатую губу, рассматривал результат ухода в зеркале. Пятый нижний зуб на правой стороне неизменно торчал маленьким осколком рафинада в девственной пустыне десен...

Если дедовой супружнице бабке Матрёне удавалось застать эдакую картинку, она всякий раз насмешничала: «Чё, старой, опять пересчитываешь? Думаешь, выросли вдругорядь?» Дед незлобно отмахивался: «Не бухти! Завидки берут, так и сказывай! Сама-то, почитай, двадцать годков шамкаешь! А у меня восемьдесят первый, и то — дёржится!»

Очень гордился старик зубом и очень им дорожил, потому как в деревне Горушкино из трёх мужиков преклонного возраста только одного его не могли обозвать «беззубой таратой». Давнишние его приятели, односельчане дед Антон и дед Матвей к такому давно уже не относились.

Долгими тёмными зимними вечерами или светлыми летними они любили собираться вместе и сражаться в домино. За этим занятием обсуждались политические, климатические, деревенские, бабьи и всяко-разные новости и видение событий. Иногда доходило до ожесточенных споров, и тогда, в подтверждение своей правоты, дед Семён выкладывал самый, как ему казалось, весомый аргумент: «Зуб даю, паря!» А поскольку у него зуб, в отличие от остальных, действительно имелся, то спор завершался Семёновой победой. Во каком ценным был этот «осколок прошлого»! И надо же такому случиться, что он заболел...

Началось всё с утреннего чая. Нацедив из пышущего жаром самовара кипятку в граненый стакан (другая чайная посуда им не признавалась), Семён Иванович привычно щёлкнул сахарными щипчиками, расколов большой кусок на несколько маленьких. Отправил один из них в рот и отхлебнул чайку. В тот же миг лицо его перекосилось от боли, он резко опустил стакан на стол и обеими руками схватился за правую щёку. Обычно спокойные серые глаза, казалось, выплеснули наружу сноп искр.

«Ой-ей-ёй!» — неожиданно звонко, по-детски заверещал он. Бабка Матрёна удивлённо глянула на мужа: «Чё? Сказився, чё ли?» Дед стремительно поднялся из-за кухонного стола, уронив табурет, пронёсся в комнату и рухнул подкошенным снопом на кровать. Он катался бревном то в одну сторону, то в другую и подвывал: «От ить напасть, у-у-у-у, как больно!..» Подошедшая к кровати Матрёна Петровна, минуточку другую понаблюдав за страдальцем, промолвила: «Ишь, заполошился! Мотри, помрешь ишо ненароком! Сичас таблетку отыщу, нальгин где-то был». Семён Иваныч в ответ простонал: «Давай шибче, Мотя, ищы, мочи нетутка!»

Далее начался многоэтапный процесс лечения. Проглотив протянутую таблетку анальгина, Семён Иванович безропотно дал перевязать щёку с подложенным огромным листом капусты колючим, связанным из овечьей шерсти платком, оставившим снаружи только седую бородёнку, и, сделавшись похожим на «неведому зверушку» существом, с подвываниями улез на протопленную печку. Через некоторое время дедовы стоны затихли на теплых кирпичах.

Проснувшись через час без боли, дед сорвал «лечебную» косынку и резво спрыгнул с печки. Достал с комода круглое зеркало и принялся разглядывать злополучный

источник миновавших страданий. В самой середине зуба красовалась яркая чёрная точка, похожая на случайно прилипшее маковое зернышко. Решив сколупнуть это «зернышко», дед не придумал ничего лучшего, чем воспользоваться бабкиным крючком для вязания, благо в избе хозяйки не наблюдалось. Зацепил «зернышко» и что есть силы дёрнул... Вместе с пятнышком отвалилось и ползуба. Тотчас же возвратилась ноющая, тягучая боль, и Иванович, выругавшись, схватил лежащую у самовара упаковку белых таблеток, не глядя вырвал две штуки, закинул в рот и запил стаканом холодного давешнего чая. Улегся на кровать и, постанывая, стал ждать избавления от боли.

Вернувшись с консультации по поводу лечения дедовой напасти от соседки бабка Матрёна опять застала «работающий лазарет». «Слышь, отец! Дарья сказывала: надоть чесноком обложить дёсну-ти. На-ко, я облупила зубчики-ти, давай приложи!» Дед покорно взял протянутые кусочки чеснока, закинул в рот и тут же выплюнул: «Тьфу ты, жжётся-ти как! Я таблетки выпил, нальгин твой...» Ещё через полчаса с больным стало твориться что-то неладное: он то и дело вскакивал с постели и опрометью уносился в сени. «Зачастил чё-то ты до ветру, батько! Никак полный прострел получился у тебя в организме от зуба-ти? Сверху донизу?» — беззлобно подтрунивала Матрёна.

Но когда супругник стал бегать туда-сюда всё чаще, одной рукой хватаясь за больную щёку, а другой за живот, заподозрила неладное. «Ты где нальгин-от нашёл? Я ить утресь тебе последнюю таблетину в пачке дала, боле не было. К фелшарице сбиралась было идти...» — растерянно спросила она деда Семёна. «Дык у самовара лежат которые, почти целая упаковка», — слабым голосом отвечивал страждущий, в очередной раз вернувшись на кровать. «Ох, ти, батюшки! Дык это же не те! Энти от запора я принесла намедни, как их там — «Пурген», Варька-медичка на той неделе прописала», — запричитала Матрёна. Остаток дня дед Семён провёл с бабкой «в контрах». Странное дело, но слабительное каким-то непостижимым образом заставило уняться зубную боль.

Следующее утро ознаменовалось Семёновым бойкотом: стакан чая демонстративно отодвинул, яишно проигнорировал, к булке с маслом не притронулся... Но голод не тётка, в обед всё-таки отхлебнул горячих душистых щей из печки. И началось... Острая пронзающая боль свела скулы, в глазах потемнело.

«Ма-трё-на... сделай чё-нить, бога ради! Силов моих боле не-ту-у-у...» — гудел дед Семён, плюнув на бойкот, качаясь из стороны в сторону на скрипящем табурете. «В город тебе надо, батько, к зубодеру! Ужотка Ваське из конторы позвоню — завтрава свезёт!» — успокаивала как могла Матрёна. «Дык завтра суббота, не работает зубодёр-от! — чуть не плача, стонал дед. — «Делай чё хошь!»

Последовавшая весь оставшийся до вечера день интенсивная реанимация, включавшая различные мероприятия, как-то: полоскание шалфеем, содой, уксусом, прикладывание к десне подорожника и лопуха и даже сваренного вкрутую горячего яйца, — видимых результатов не принесла. Зуб ныл всё сильнее, правая сторона щеки увеличивалась на глазах.

Когда августовское солнце скатилось за дальний лес, в избе собрался консилиум. Перебивая друг друга, деревенские консультанты предлагали опять замотанному в платок по самые скорбные глаза деду различные способы самолечения. Сначала бабка Фрося принесла пожелтевший листок с написанным выгоревшими чернилами разговором и несколько раз усердно прочитала его, как положено, над «тимьячком» больного — не помогло. Когда же бабка Дуся предложила положить на зуб кусочек высушенного «коровяка», дед скривился и отрицательно затряс седой головой, мыча что-то нечленораздельное, отчаянно замахал руками, давая понять, что в бабьих советах больше не нуждается. Обиженно поджав губы, старухи удалились восвояси.

Подошедший вскоре дед Антон, деловито взглянув на сидевшего в подушках «мученика», глубоко вздохнул и изрёк: «Тута, паря, нужен радикальный метод, надо — драть! Я вот нитку суровую у моей бабки в сундуке нашёл, отмотал метра два, вся-ко хватит! — дед Семён вскинул на лекаря испуганные глаза и горестно застонал. — Надо, паря, потерпи уж маленько, дай-ко я излажу!» — с этими словами заскорузылыми пальцами дед Антон соорудил на конце принесенной длинной серой нити петельку и, повелев пациенту держать шире рот, накиннул нить на остаток зуба. Второй конец крепко-накрепко привязал к ручке открытой комнатной двери. Но и это оперативное вмешательство не спасло положение. От резко захлопнутой двери нить оборвалась аккуратно посередине, так и не исполнив возложенную на неё миссию.

Дед Антон подобрал с пола обрывок нити, с жалостью взглянул на бледного, обливающего потом приятеля: «Однако нитки-то у бабки сопрели, гнилые вовсе...» — «Гнилы-е-е-е, — протяжно передразнил его дед Семён. — Надо ж было допреж оглядеть, фелшар недоделанный! Натерпелся я тутюка с тобой — чуть портки не омочил!» — и опять схватился за опухшую щёку.

Последним в этот вечер консультировал дед Матвей. Присев на краешек кровати, на которой, сжавшись в комочек и зарывшись щекой в подушку, лежал периодически поскуливавший Иваныч, он вкрадчиво, чтобы не услышала Матрёна, зашептал: «Слышь, чё мужики-ти бают? Надоть в зубное дупло кашнуть кислотой, она нерву-ти у яво сожжёт, и зуб-от стихнёт! А кислота-то в любом камуляторе имеется. Согласно будёшь, так я скорёхонько до Мишки Панькиного сбегаю в мастерскую, а?»

Дед Семён поднял из подушки усталое, опухшее лицо, тяжело вздохнул и обреченно закивал взлохмаченной головой. Ещё через полчаса, выпроводив бабу Матрёну под благовидным предлогом на улицу, Семён Иванович накинуд крючок на дверь в избу и приступил к лечению. Первая капля кислоты, трясущимися руками набранная в Матрёнину пипетку для глазных капель, угодила мимо цели. Десну зажгло и зашипало так, словно на неё плеснули крутым кипятком. Неимоверным усилием дед Семён направил на «зернышко» вторую каплю. Слюна во рту словно закипела, оглушающая боль пронзила всё тело. Не помня себя, дед скатился с кровати и босиком вылетел в сени, затем, сбросив крючок, на крыльцо. И бухнулся головой в старую дубовую бочку, доверху наполненную дождевой водой. В таком виде и застала его возвратившаяся Матрёна.

Резко схватив цепкими скрюченными пальцами дедов загривок, вытянула из воды пунцовое лицо и заверещала: «Ты чё, дурень старый? С копылков съехал, чо ли? Ишь, чё удумал, в бочке топиться! Охренел вовсе...»

Потом они ещё долго молча сидели на лавке у стены дома, мокрый до пояса, красный как рак дед Семён и бледная как полотно бабка Матрёна, и отходили каждый от своего потрясения. Наконец, Матрёна сказала: «Завтрева пойдёшь ко врачу, я Ваське всё обсказала. В городе за деньги и в выходной личат!» В ответ дед только кивнул понурой головой.

Ночь он провёл сидя на крыльце. В старых валенках на босу ногу, замотанный всё тем же платком, сидел, покачиваясь из стороны в сторону, и баюкал большую щёку в морщинистом ковшике натруженной ладони. Мысленно ругал себя и деда Матвея: «Нашёл, кого слушать, идиот! Знахарь хренов!» Зуб вроде как не болел, но теперь ломило и пронзало как иголками обожжённую кислотой десну, заставляя деда протяжно, тихонько постанывать. Под самое утро к нему присоединился соседский Шарик, сначала тихонько поскуливая в унисон за забором, а потом и вовсе разойдясь и завывая всё громче и громче. Невесёлый дуэт разбила бабка Матрёна: выскочив в ночнушке на крыльцо, загнула страдальца в избу.

Городской стоматолог, симпатичная молодая женщина, усадила печального, понурого Семёна Ивановича в кресло, и едва он открыл рот, всплеснула руками: «Что это с вами, дедушка? Чем вы лечились? Вся кожа с десны слезла...» Дед, покраснев, как школьник перед училкой, тихо ответил: «Дык всем, кто чё знат... А последнее — кислотой, камуляторной...» Докторша заохала, заахала: «Кто это вас надоумил-то? С ума сойти можно!» Дед молчал, опустил седую голову.

Краем глаза заметив, что врачиха достала огромных, как показалось ему, размеров шприц и намеревается набрать в него лекарство, вдруг неожиданно звонким голосом закричал: «Не надо укола, не надо! — уколов он необъяснимо и панически боялся всю жизнь, этот страх вгонял его в ступор, заставляя придумывать разные причины для их отмены. Вот и сейчас он вдруг выдал: — У меня лергия, лергия!» Докторша отложила шприц, вздохнула, пожалала плечиками и сказала: «У вас дедушка — флюс, и так укол может не подействовать, придётся потерпеть».

Послушно открыв рот, дед Семён успел подумать, что скоро этот его «плюс» оборотится на «минус». В лёгкой руке мелькнуло что-то похожее на пассатижи, потом что-то хрустнуло, и в мозг вонзилась такая яростная, такая пронзающая боль, что Семён Иваныч потерял сознание.

Очнулся он от острого, противного запаха нашатыря, над ним склонилось бледное, взволнованное, озабоченное лицо в медицинской маске. Полные влаги, большие, распахнутые глаза радостно вспыхнули зелёным светом: «Ну и напугали вы нас, дедушка! А зуб-то ваш вылечить можно было, если бы кислотой его не стравили. А десну придётся мазью лечить, хорошо, хоть немного попало...»

По дороге домой дед Семён додумался до того, что «неспроста Матвей ему про кислоту-то насоветовал. Ой, неспроста! Знал, поди, шельма, что после этого лечения зуб точно не выживёт и спорить Семёну будет несподручно, потому как не будет у него главного-то аргумента».

Как ошпаренный подпрыгнул дед Семён на сиденье машины и велел Ваське разворачиваться обратно в город. «Ты чё, батя, белены объелся? Мы ведь, почитай, половину дороги проехали?» — задурел Василий. «Цыц! Мал ишо указывать отцу, поворачивай, баю, взад!» Тридцатилетний Васька недовольно пробурчал что-то себе под нос и развернул уазик.

Запыхавшийся дед Семён влетел в кабинет и с порога выпалил: «Зуб-то мой, дочка, отдай!» Стоматолог удивлённо пожала плечами: «Забирайте, если ещё убрать не успели». Дед нашёл то, что искал, у края подноса под кусками использованной ваты. «Во-от он, мой аргументик, целёхонький почти...» — ласково приговаривал Семён Иванович, заворачивая остаток потемневшего зуба в носовой платок.

Вечером следующего дня дедки привычно резались в домино. Слово за слово, и разошлись во мнениях по поводу, «будет ли завтрава ведро или раздожжётся». Терпеливо выслушав все перечисленные народные и ненародные явленные этому приметы, дед Семён твёрдо высказался за «ведро» и, как обычно, добавил: «Зуб даю!» Оба оппонента одновременно удивлённо вскинули брови... И тут дед Семён с торжественностью, достойной царской аудиенции, выложил на стол открытый спичечный коробок, в котором на кусочке бархатной бумаги как великая драгоценность покоился самый весомый его аргумент: «Что, паря, съели?»

ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ

Десять из семнадцати прожитых лет Фаинка ненавидела своё имя. Нарекла её так мать Светка, почти постоянно находившаяся подшофе. «Заблудшая» родительница была весёлой, пригожей по всем деревенским меркам, пользовавшейся неизменным успехом у «пришлых» кавалеров. Своих парней, односельчан, разбитная Светка презирала после неудачной первой любви с бывшим однокурсником Николашкой, который «поматросил, да и бросил», женившись на городской красе с высокопоставленными родителями. Поначалу Светлана ещё пыталась забыть изменщика, заводя новые знакомства, но её душа не смогла принять серьёзно ни одного ухажёра. Она всё сравнивала настоящее с прошлым и не находила в новых отношениях того, что было с Колькой. Его предательство подкосило деревенскую «приму», незаметно заставив частенько искать утешение в рюмке. Через два года почти ежедневных возлияний красавица Светлана, мечтавшая стать учительницей, превратилась в доярку, шалаву Светку, искавшую потерянное счастье в случайных объятиях командировочных и прочих заезжих мужиков.

В конце девяностых, когда по телику часто показывали симпатичных молоденьких парней, весело распевавших на все голоса: «Фа-и-на, Фа-и-на, Фа-и-на-на...», — Светка, как говорили на деревне, забрюхатела. Родившуюся под Новый год дочку так и записала в сельсовете — Фаина Ивановна Ордынцева. Отчуждённая малышке Светка дала своё. Отца Фая не только не помнила, но и не знала вовсе, потому как легкомысленная Светка утверждала, что и сама не знает, «с какого конкретно ветру девку ей надуло». Одно слово — приبلуда.

В воспоминаниях Фаи о раннем детстве не было ничего, кроме пьяных разговоров матери со случайными собутыльниками за дощатой, оклеенной облезлыми обоями переборкой и сердобольных соседей. Когда Фаинке было около четырех лет, она сильно шепелявила. Иногда Светкины гости заводили разговор с несмело выглядывавшей из угла кутьи малышкой. Они спрашивали, как её зовут, и Фаинка отвечала им на полном серьёзе так, как чаще всего называла дочку непутёвая родительница: «Пли-блуд-а». На вопрос: «Как зовут мамку?» — без тени сомнения ребёнок отвечал так, как все называли: «Са-ла-ва». Пьяный хохот прокатывался по избе, потом все снова забывали о девочке.

После смерти бабки, матери Светки, много лет жили они с Фаинкой одни-одинёшеньки на краю деревни в стареньком, продуваемом всеми сквозняками углом домишке, давно не знавшем мужской заботливой руки. Крыльцо покосилось, зияя, как беззубым ртом, оторванными и полусгнившими досками. Маленькие, иссохшие от времени оконные рамы, источенные жучком-короедом, вот-вот грозились развалиться, а потому не открывались даже в самый жаркий летний день.

Несмотря на пристрастие к выпивке, Светка, в отсутствие заезжих кавалеров как могла заботилась о дочери. Во времена «затишья» в избе было очень бедно, но чисто. На печке всегда томился чугунок картошки, сваренной «в корках», в погребе стояли в стеклянных банках солёные огурцы, в дубовых кадках — лесные дары: солёные грибы, мочёные ягоды брусники, яблоки; на полках хранились сушёные грибы, пузатый золотистый лук и ядрёный чеснок. На столе возвышалась глиняная крынка с молоком, которое Светка «Христа ради» выпрашивала на ферме. Мать Фаинку никогда не

обижала, но и особой ласки ребёнок не знал. Роскошеств девчушка не видела, но всё необходимое было.

«Тверёзая» Светка была молчалива и угрюма, а навеселе могла неожиданно прижать тёмную кудрявую дочкину головку к засаленному, застиранному фартуку и, погладив заскоружлыми руками, запричитать, обливаясь пьяными слезами: «Дитятко ты моё, не-счаст-но-е-е-е! Никому-то мы с тобой не надобны-ы-ы! Сиротинушки посреди всей земли-и-и! Ой, да как же нам жить-то, Господи-и-и-и!» Нарыдавшись, мать опрокидывала очередную стопку самогона и уходила спать: зимой на печку, летом на повить. Оставшись одна, Фаинка убежала к бабке Полине, жившей на середине деревни в аккуратненьком, выкрашенном сыновьями в цвет весеннего неба краской домике. Полина Ивановна давно жила одна и привечала Фаинку как родную внучку. У доброй старушки всегда был припасён для неё то пряник, то баранок, а то и вкусная, прозрачная, как цветной ледок, карамелинка.

Так и жила Фая в родной деревне, пока не пришла пора идти в школу. Семилетку Фаинку определили в пришкольный интернат в райцентре в 30-ти километрах от дома. Начались школьные будни. По дому, как другие, девочка не тосковала, слёз не лила, ей хватало «гостевания» на каникулах. Немножко жалко было ласковую и сердечную бабушку Полю. А в остальном всё было очень даже неплохо: ночью Фаинка спокойно спала, не просыпаясь от пьяных криков или слёз матери, кормили, по мнению не изнеженной кулинарными изысками девочки, просто отлично, в комнате было тепло и сухо.

Только одно смущало девчушку — её старомодное какое-то имя. Мальчишки не упускали случая подразнить: «Файка-фуфайка, Файка-балалайка», — кричали на перемене разгоряченные беготнёй ребяташки. Девчонки ухмылялись, наблюдая, как красная от злости Фая со всей силы лупила обидчиков учебником по лопухим головам. Фаинка мечтала скорее вырасти и сменить имя, например, на Анжелу или Веронику.

К классу седьмому угловатая, ничем не примечательная Фая вдруг превратилась в стройную, симпатичную девочку-подростка с длинными вьющимися волосами, пронзительными, цвета малахита, огромными глазами. Которая особой дружбы ни с кем не водила, большую часть времени предпочитая развлечениям чтение книг. Теперь открыто её не дразнили, а по-за глаза величали Файкой-зазнайкой. К моменту окончания школы Фаина Ордынцева была признанной красавицей и недотрогой.

В родную деревню она приехала с намерением пожить недельку-другую до вступительных экзаменов в медицинский институт в областной столице. Бабушка Поля к тому времени умерла, а мать постарела и притихла как-то, присмирела, даже выпивать стала реже, жалуясь на подорванное здоровье. Ночами ворочалась на старой скрипучей кровати за деревянной переборкой, всё вздыхала и постанывала, отчего Фаинка каждый раз просыпалась. Опустив ноги с видавшего виды дивана, она щёлкала выключателем и в ночнушке пробегала в кухню, черпала алюминиевым ковшиком из ведра колодезную воду, подносила родительнице.

— Ну, ты чего опять, мамка? На-ко, выпей водицы! Болит что? Таблетку надо? — спрашивала она.

— Да ничё, Файка, тяжко мне токо... Жизнь-то свою я профукала, так профукала, что и помирать топерь страшно, — тихо ответствовала Светка, глядя на дочку наполненными слезами, выцветшими изумрудными когда-то глазами.

— Да полно тебе! Какие ещё твои годы! Помирать она собралась... Внуков ещё не понянчила! — как можно бодрее говорила Фая, стараясь не думать о том, что мать и вправду сильно сдала, постарела, скукожилась как-то за последнее время.

Отглотнув воды, Светка отставляла ковшик и, повернувшись лицом к переборке, замолкала. В избе повисала густая тишина. Фаинка возвращалась в постель, усилием воли отгоняла тревожные мысли и засыпала до утра.

Когда пришёл вызов из института, она покидала свои нехитрые пожитки в видавшую виды дорожную сумку, достала из-под притолоки заначку, собранную за вечерние подработки разносчицей телеграмм на почтамте, куда её на последние два года учёбы по знакомству устраивала сердобольная вахтёрша интерната, и уселась на дорожку на широкую лавку, стоявшую у дверей в избу. Мать присела напротив у стола и грустно глядела на дочку.

— Не тоскуй, мамка! Поступлю, выучусь на врача и тебя в город заберу, будем мы с тобой жить-поживать, горя не знать! — наигранно-весело проговорила Файка, чувствуя, как ложится на сердце неизъяснимая тоска.

Светка опустила седеющую голову, неловко заводила ладонями по обтрёпанной клеёнке, и крупные капли слёз вдруг застучали по столешнице.

— Не свидимся мы боле! Предчувствие у меня... Прости ты меня за всё, окаянную! Светка порывисто встала, бросилась к дочке, обняла, прижала к себе и зарыдала в

голос, уткнувшись в дочкино плечо. От неожиданности Фаинка обмерла и застыла от накатившей волны жалости.

— Да что ты такое говоришь, мам? Поступлю и на каникулы приеду, на Новый год, вот увидишь!

Светка подняла на неё заплаканные глаза и как-то обречённо закивала головой:

— Прости, доченька, прости меня! Нервы расходились... Конечно, приедешь, это я так уж...

Пока Фая шла от дома к автобусной остановке, мать стояла у калитки и махала ей рукой, непрерывно вытирая ладонью струящиеся ручьём слёзы.

В институт Фаина не поступила, сдав на «тройку» треклятую и так нелюбимую ею физику. Все остальные экзамены она сдала на пятёрки, но до проходного балла не дотянула. В приёмной комиссии ей предложили подать документы в медучилище, находившееся рядом, и она, малость поразмыслив, так и поступила. Матери написала, что решила сначала стать медсестрой, а потом уж выучиться и на врача, если понравится.

Шла вторая половина августа. Общежитие Фаинке дали сразу, через неделю первокурсники должны были отправиться «на картошку», и она осталась в городе, надеясь найти привычную для себя какую-нибудь подработку. «Картошка» принесла новые впечатления и новые знакомства. За месяц, проведенный в колхозе, новоявленная студентка перезнакомилась со всем своим курсом, нашла новых подружек и друзей.

На горизонте замаячил и поклонник — весёлый симпатичный озорной Вовка Жуков. Они были ровесниками и как-то сразу подошли друг другу, похожие между собой зелёными глазами и курносими носами. Вовка запал на Фаину с первой встречи, начал оказывать знаки внимания, часами маячил с цветами под окнами общежития, приглашал в кино, кафе, на танцы. Своенравная девушка не сразу ответила на ухаживания и разглядела кавалера только ближе к Новому году.

На праздник она планировала вырваться к матери, но друзья уговорили остаться в городе, и она, закружившаяся в водовороте новых встреч и впечатлений, уступила им. Решила, что съездит в деревню немного позже. Отправив матери открытку с поздравлением, Фая окунулась в атмосферу первого в её жизни по-настоящему праздничного новогодия. Бой курантов она встретила в шумной студенческой компании в сопровождении по уши влюбленного в неё Вовки. Потом на носу была сессия, и поездка к матери всё откладывалась.

Скорбная телеграмма застала её в день последнего экзамена, сданного, как всегда, на отлично. Комендант общежития подозвала Фаину к себе, когда она, возбужденная и радостная, поднималась на свой этаж, намереваясь хорошенько выспаться после бессонных ночей. Пряча взгляд, Семеновна протянула ей листок с наклеенными полосками слов. Глаза пробежали по строчкам, руки, державшие послание, мелко задрожали, дыхание перехватил спазм:

— Как же так? Мама... мама... мамочка...

Слёзы закапали бусинами на разбегающиеся буквы. Она тяжело опустилась на ступени лестницы и замерла, глядя в одну точку. Горе сбило с ног, мир покачнулся и скатился куда-то вниз.

На похороны она ездила одна, категорически отказав Вовке в сопровождении. Так и сказала ему в ответ на предложенную помощь:

— Я должна сама, одна... Сильной надо мне учиться быть теперь...

После кладбища родной дом встретил давящей тишиной. Мерно тикали настенные ходики, на которых под облупленной краской ещё угадывался рисунок, изображающий веселого клоуна. И этот не к месту веселый клоун рвал душу на части. На стоящем посреди горницы старом круглом столе, покрытом состиранной скатертью, стояла коробка из-под обуви, наполненная различными таблетками, пузырьками, коробочками с лекарствами — мать тяжело болела в последнее время. Под коробкой торчал уголок какой-то бумаги. Фая приподняла коробку и вытащила конверт, на котором рукой матери было написано: «Дочке Фая». В конверте лежал листок бумаги, исписанный крупным пляшущим почерком, и старая черно-белая фотография.

Текст гласил: «Дорогая моя доченька! Хочу, чтобы ты помнила всегда, что я тебя очень любила. Чтобы знала, что не было у меня в жизни большей радости, чем ты. Прости ты меня, родная, за всё прости! Не держи зла за мои пьяные дни и годы. Не плачь обо мне, не скорби долго, по грехам моим мне бы давно надо было помереть, да Бог смилостивился, не оставил тебя, малую, сиротой. Теперь уж ты большая, теперь уж не потеряешься в жизни этой. Желаю тебе, умница моя, лучшей доли. И ещё хочу признаться тебе, что родной твой отец был хорошим человеком, правильным. Он так и не узнал, что ты родилась, не хотела я ему век завешивать. Звали его Павел. На фотографии кружком помечен. Может, встретишь когда, узнаешь. Ещё раз прости за

всё! Целую тебя и обнимаю, Фаинушка моя ненаглядная».

На пожелтевшей фотографии была изображена ватага парней и девчонок, расположившихся полукругом на крыльце колхозного клуба. В центре Фая узнала свою юную красавицу-мать, рядом с ней улыбался темноволосый симпатичный парень с гитарой в руках. Лицо незнакомца было обведено кружком. Что-то неуловимо знакомое показалось Фаинке в облике парня. Девушка ещё долго сидела за столом, снова и снова перечитывая прощальное послание матери. Навалившаяся тоска не давала покоя, воспоминания терзали сердце, и на следующий день Фая уехала обратно в город.

Жизнь продолжалась. Вовка всё чаще стал признаваться в любви, и, наконец, наступил тот день, когда он решил познакомить любимую с родителями. Фаинка очень волновалась, готовясь к этой встрече. Надела лучшее платье, сделала причёску, целый час провела перед зеркалом, улучшая и без того привлекательную внешность. Кавалер оценил старания, восхищенно цокнув языком.

Дверь влюбленным открыла мама кандидата в женихи Вера Ивановна — симпатичная, ухоженная женщина. Окинув будущую сноху добрым мягким взглядом, пригласила за празднично накрытый стол. Знакомство состоялось легко и непринужденно. Они пили чай и разговаривали обо всем на свете. Вовкина мама сразу понравилась Фаяе, жаль, не пришлось увидеть в тот вечер его отца. На заводе, где он работал главным инженером, случилась серьёзная неполадка, вынудившая его задержаться.

Взаимная любовь закружила счастьем. К лету молодые решили пожениться. Подачу заявления в загсе отмечали за пирогами в доме будущей свекрови. На этот раз Вовкин отец, Павел Петрович, был дома. Весь вечер девушку не оставляло ощущение, что она уже когда-то видела этого седовласого статного мужчину с теплым мягким голосом и добрыми глазами.

Разгадка открылась неожиданно. В старом семейном альбоме с фотографиями. Рассматривая снимки, они с Вовкой весело смеялись, комментируя его трогательно-детские и забавные школьные снимки. Среди цветных фотокарточек затерялись несколько черно-белых. Взяв в руки одну из них, Фаинка застыла в ступоре. Снимок был один в один с тем, что оставила ей мать.

— Откуда это фото у тебя? — дрожащим от волнения голосом спросила она у Вовки.

— Да это из батиной юности. В стройотряде где-то были, — легко отозвался он и указал пальцем на парня с гитарой.

Фаино сердце ухнуло вниз, виски сковало невидимым железным обручем, дыхание перехватило. Сославшись на усталость, она стала прощаться. Всю дорогу, пока Вовка провожал ее до общежития, она угрюмо молчала. Чмокнув его на прощание в щеку, поднялась в опустевшую на каникулах комнату и рухнула на кровать. Всю ночь она проплакала, вспоминая, как была счастлива с Вовкой.

— Как мне жить теперь? Не могу же я замуж выйти за родного брата! — рыдала она в подушку.

На рассвете, измученная слезами, провалилась в тяжелую дрему. Разбудил ее настойчивый стук в двери.

— Фаюшка, открой, это я, — взывал встревоженный Вовкин голос. Не узнав в зеркале свое зареванное лицо, страдальца распахнула дверь. — Что с тобой? Тебя кто-то обидел? Ты заболела? Где болит? Что? — взволнованно зачастил Вовка.

— Уходи! Нам не надо больше встречаться! Уходи! Не мучай меня! — едва сдерживая готовые опять прорваться наружу слезы, проговорила Фая.

— Но почему? Что случилось?! Заюшка, скажи, что стряслось?! — любимые зеленые глаза недоуменно зывали к ней.

— Ничего. Просто у-хо-ди! — изнемогая от горечи, по слогам произнесла Фаинка. — Пожалуйста, уходи! Ничего у нас быть не может... Ты брат мой... по отцу, — выдавила она из себя и зарыдала.

— Как? Как брат? Почему? — затряс худенькие плечи Вовка.

Она встретилась с Вовкиным взглядом, переполненным душевной болью, уткнулась лицом в его плечо и все рассказала. Потом поцеловала в макушку и молча открыла дверь, обессиленно покачав головой.

— Пожалуйста... Уходи...

— Этого не может быть. Нет... нет, — потрясенно шептал Вовка всю дорогу к дому.

Когда Вовкины родители вернулись с работы, они обнаружили обычно жизнерадостного улыбчивого сына лежащим бревном на диване, уставившим недвижный взгляд в одну, только ему ведомую точку. С огромным трудом выпытав причину такого состояния, родители переглянулись между собой. Павел Петрович обеспокоенно замерял шагами комнату. Вера Ивановна глубоко вздохнула и присела

на краешек дивана.

— Сынок, — мягко сказала она, погладив Вовку по волосам, — мы не решились тебе сказать, но раз уж такое дело... Так вышло, что папа тебе не родной... Он усыновил тебя ещё грудничком, так случилось, что твой биологический отец оставил меня беременную.

— Правда? Мама говорит правду, отец? — повис в воздухе Вовкин полный надежды вопрос.

— Чистую, чистую правду, сынок! — смахнул неожиданную слезу Павел Петрович.

— Что же это получается? У меня теперь еще и дочь есть... Какое счастье!

— Так что же мы медим?! Идем скорее к Фаинке! Обрадуем! — подхватился с дивана Вовка.

— Конечно, пошли скорее, — заторопился Павел Петрович, но вдруг коротко охнул и схватился за сердце.

— Папа, я сам. Ложись, лекарство прими. Я сейчас вернусь с Фаинкой.

Общежитие встретило тишиной. Старенькая вахтерша, держа в руках газету, «клевала» носом.

— А нету вашей Ордынцевой, уехала. Почитай, как часа два уже уехала, — устало ответила она на вопрос о Фае.

— Как уехала? Куда же? — ужаснулся Вовка.

— Да откуда же мне знать, мил человек?! Она мне не докладывалась, — вздохнула старушка, — попрощалась, сумку подхватила, да и ушла. Каникулы ведь. Может, домой подалась...

— Так нет у нее никого дома-то, — растерянно проговорил парень.

— Дак и что, что нету. Родимый дом завсегда к себе тянет, особливо в горести... Очень уж она расстроенная была. Где дом-от ейной, знаешь? — спросила она Вовку.

Только сейчас Вовка понял, что любимая ни разу не говорила, откуда она приехала. Холодок пробежал по спине, ноги подкосились, и он обреченно опустил на низкий подоконник.

— Не горюй, мил человек! В понедельник в деканат сходишь, адрес-то домашний и узнаешь. Ноне уж поздно, на выходные все ушли. И ты поди домой, с Богом!

Промаявшись два выходных, Вовка, едва наступил понедельник, помчался в училище. Деканат встретил его закрытой дверью, на которой красовалось объявление: «Сотрудники деканата в отпуске до 10 августа». Кусая от огорчения губы, Вовка в растерянности стоял на крыльце. И тут он вспомнил про отца: «Батя же в той деревне был! Как я забыл!»

Окрыленный, он полетел домой. Но, увы, отец не мог ему помочь.

— Давно, сынок, дело-то было. Не помню, как деревня-то называлась, — растерянно проговорил Павел Петрович. — На тракторной телеге нас тогда в колхоз-то привезли из райцентра, дороги-то вовсе тогда не было, одни ямы да ухабы.

— А райцентр-то как назывался, помнишь? — вступила в разговор Вера Ивановна.

— Запамятовал... Область-то другая была, — виновато вздохнул отец.

Вовка схватился за голову, нервно закачался из стороны в сторону:

— Что же делать-то теперь?

— Подожди, сынок, на учебу-то она вернется ведь, потерпи, — коснулась сыновнего плеча мама.

— Не могу я, мама, ждать! Как мне без неё? — горячо откликнулся Вовка.

— И я ждать не могу, Верочка, дочка ведь она моя! — согласился с ним Павел Петрович.

— Тогда будем искать! — отозвалась Вера Ивановна. — Подумаем, что можно сделать.

Ни интернета, ни сотовых телефонов тогда еще не было. Но были искренние дружеские отношения между людьми, огромное желание помочь чем можно. Вера Ивановна через десятые руки нашла знакомую знакомых, работавшую в медучилище. А та, в свою очередь, уговорила секретаря учебной части дать адрес Фаины. На все про все ушло два дня. Павел Петрович решительно заявил жене, что к дочке он поедет с сыном сам, несмотря на боли в сердце. Вера Ивановна вздохнула и, вручив ему заполненную таблетками аптечку, проводила мужа и сына в путь.

Ветер спрятался в ветвях березы и затих. Фая разговаривала с мамой. День за днем приходила она на деревенское кладбище, садилась на скамеечку у изголовья могилы и изливала свою исстрадавшуюся душу. Иногда девушка ловила себя на мысли о том, как все-таки странно устроена жизнь: с живой мамой она никогда не делилась ничем сокровенным, а сейчас чувствовала острую потребность рассказать ей всю свою не слишком веселую жизнь. Она говорила и говорила. И ей становилось легче.

На соседнюю ограду опустилась сорока. Проскакала взад-вперед, покачивая

длинным хвостом. И вдруг завертелась, затрещала. Фаинка взглянула на неё и невесело улыбнулась:

— Что ты, глупая, заполошилась? Некому мне весточки подавать... Одна я осталась, на всем белом свете одна.

Окинув взглядом окружающее пространство, Фаина заметила, что вдалеке меж могил неторопливо ходит какой-то мужчина. Приглядевшись, она с удивлением и замиранием сердца узнала в незнакомце Вовкиного, а теперь, оказывается, и своего, отца.

Павел Петрович, обернувшись на сорочий стрекот, увидел Фаинку. И почти бегом, словно боясь обознаться, кинулся навстречу.

— Дочка! Милая! Слава Богу, мы нашли тебя! — скороговоркой зачастил он, заходя в ограду.

И остановился как вкопанный. С металлического овала на потемневшем от времени деревянном кресте смотрела на него огромными глазами собственная юность.

— Как ты на мать похожа! Доченька, прости, я ведь ни о чем не ведал...

— Я знаю, мама говорила. Я не виню тебя... — прошептала Фаина и, словно споткнувшись, выдохнула: — па-па.

Она произнесла это слово первый раз в жизни, и оно вдруг открыло, точно шлязы, её душу, слезы полились рекой. Они обнялись и долго молча плакали, возвращаясь друг к другу родными душами. Когда солнце упало на макушки ельника, Павел Петрович спохватился:

— Ой, доча, Вовка-то, поди, меня потерял. Я ведь его у тебя на крыльце сторожить оставил. Мы же по всей округе тебя искали. Пойдем, дочка, домой.

— Зачем он с тобой приехал, папа? Мучить меня? Мне ведь теперь ещё привыкнуть надо, что он мой... — она осеклась, пряча полные боли глаза.

Павел Петрович, едва сдерживая рвущиеся наружу рыдания, сжал ладонями ее вспотевшие от волнения ладошки и выдохнул:

— Нет, доченька, не брат он тебе. Усыновил я его грудничком. Такие вот дела...

— Правда? Это правда, папа? — ошеломленно проговорила Фаина.

Он, радостно улыбаясь, утвердительно закивал.

Небо спустилось на землю, дало Фаинке крылья, и она полетела...

Прошел год. По тропинке липовой аллеи шагала компания. Впереди шел улыбающийся мужчина, кативший розовую, в рюшках, коляску, за ним двигалась воздушная женщина в элегантном костюме такого же розового цвета, замыкала шествие парочка обнявшихся влюбленных. У края дорожки расположился киоск с игрушками и сувенирами. Расписная вывеска гласила: «Живите в радость!» Разноцветные надувные шары с нарисованными на них именами, образуя гигантскую гроздь, весело приплясывали на ножках-веревочках. Продавец отвязал розовый шар «Вероника», голубой «Володя» и белоснежный без надписи.

— Дайте, пожалуйста, на минутку фломастер, — расплатившись, попросил Вовка.

— Редкое имя у жены моей, самое красивое.

И размашисто написал красным по белому: «Фаина».